

Рубрику ведет Лев Аннинский

Київчур. - 1994. - 14 мая. - С. 2.

ХРУСТ ЯБЛОКА

В связи с приближающимся столетием Александра Довженко решили проверить его наследие «на современном зрителе» (в число «современных зрителей» попал и я). Выбрана была «Земля» — картина не столько «красная», сколько «зеленая», во всяком случае столь же «зеленая», сколь и «красная». Смысл провокации: Довженко — классик соцреализма, основоположник советского кино, пропагандист коммунистической веры — что с ним делать? Выбросить вон вместе с этой верой и с этим кино? Но ведь гений. Расчленишь на «ложь» и «правду»? Но членится плохо; искусство Довженко цельно... как яблоко. Разрезать, чтобы сожрать, можно, а расти не будет.

Он сам дает понять, что для него яблоко важнее лозунга.

Когда сегодня смотришь «Землю», этот заявленный с первых кадров принцип кажется настолько естественным, что его уже не воспринимаешь как что-то программное: приходится делать усилие, чтобы этот естественный для современного сознания «зеленый окрас» зрелища воспринимался как вызов, как закон, который художник признает «над собой» в пику другим законам, дабы мы судили его именно по этому закону, а не по другим.

Лозунги сменяются — яблоки остаются. Лозунги переворачиваются — яблоки остаются. Лозунги жрут друг друга — яблоки остаются.

Старик перед смертью ест яблоко. В последний раз. «Это есть наш последний...» Классовую истерию своего времени Довженко переводит в сравнительно спокойное, эпичное, поэтичное, народно-природно-песенное русло. В застывающей лаве социалистического реализма он находит некую извилину, некий извив, щель, если угодно, нишу, где тысячелетняя суть народного бытия проглядывает сквозь кампанейщину «временных трудностей» и «ударных вахт». И вроде бы одно другому не мешает.

Когда-то «Земля» казалась еще одной картиной на тему сплошной коллективизации, но, так сказать, с оригинальной «подсветкой» из вишнево-яблоневой сени. Диктатуру пролетариата Довженко подпер еще и с этого края. Украинская «форма» обогатила «всемирно-историческое содержание». Поэтичность была принята как способ пересказа этого содержания, а вечно обновляющаяся природа — как фон для классовых истин 1930 года.

Истины исчезли — «фон» проступил. «Способ пересказа» оказался предметом осмысления. Художник предстал во всей своей детской непосредственности. Доспехи упали — природа обнажилась.

Яблоки. Лошади. Пашня. Цветы. Дома. Лица.

Лица сейчас воспринимаешь независимо от классовой принадлежности. Когда-то принадлежность прочитывалась мгновенно — сегодня мне надо все время вспоминать, кто бедняк, а кто кулак. Теперь видна психологическая и физиономическая общность тех и этих. У них единый мимический и жестовый арсенал:

— Угроза, прищур, желваки на скулах.

— Бешеный гнев с ударом кулака по столу.

— Безудержная радость с немедленной мускульной разрядкой, с плясом на улице.

Этот пляс на улице когда-то был объявлен эмблемой силы, переполняющей большевика.

Теперь адрес надо стыдливо закрашивать, а сила продолжает искать выхода. Пляшет от полноты чувств Василь. Но ведь точно так же пляшет подвыпивший богатей. В контексте 1930 года они плясали по-разному: один — от исторического оптимизма, другой — от пьяной дури. В теперешнем контексте их пляс воспринимаешь как вариации одного состояния. Это выход энергии, срыв нервного напряжения.

Василь умирает. Кулаки кричат, что это они его убили. И все этому верят. И убийц карают.

Теперь сказали бы: ответственность за убийство взяла на себя такая-то организация. Там, может, и убийства никакого не было, — важно, что некая сила хочет «заявить о себе».

Так вот: если на довшенковский сюжет взглянуть с нынешней точки зрения (то есть, когда никакого убийства может и не быть, эта внешняя, событийная, «приключенческая», реальность лукава, обманна и вообще под вопросом, а непреложно и воистину реально именно желание разных «сил» заявить о себе), — ну что ж, они и «заявили». Кулаки «заявили», большевики «ответили». В этом суть, а не в том, каким образом Василь отправился на тот свет. Скорее всего он умер от разрыва сердца, от переизбытка чувств, то есть умер естественно, как и должно умирать природное существо.

А лозунги классовые, как нанесло, так и унесло временем.

Довженко, сокровенными корнями вросший в такой земной горизонт, до которого не добраться было никаким «тридцатитысячникам», переживает жизнь и смерть не как разменную монету в классовой драке, а как две равно прекрасные стороны вечно обновляющегося бытия. Поэтому смерть у него естественна.

У Толстого «естественность» (истовость) смерти — реакция на неестественность жизни общества.

Довженко поглощен чистым естеством. Неестественной общественной жизни он как бы не различает. Он сквозь нее прорастает. Разумеется, при этом идеологическая доктрина, с которой он никак не борется и даже не очень-то взаимодействует, — доктрина эта в лице своих теоретиков может полагать, что художник Александр Довженко — один из ее верных оруженосцев. Ничто в его духовном составе этому прямо не будет противоречить. Но по миновании доктрины ничто и не потянется у него следом за доктриной на «свалку истории». Все будет зеленеть как ни в чем не бывало. Разве что новая доктрина (демократическая, национальная или еще какая) налетит с нового края и заявит: мое!

— А то ж! Твое, ласковая, твоё.

Великий художник живет в разных измерениях и работает на разных духовных уровнях. Современная ему конъюнктура разъедает поверхность айсберга. То, что начинается глубже, кажется «художественными особенностями», «странными гения» и вообще «фоном».

Гений состоит из странностей.

Там, в глубине «фона», Эйзенштейн созерцает кровавые гекатомбы истории, в контексте которых Гитлер, ряженный в «пса-рыцаря», или Сталин, ряженный в Ивана Грозного, — всего лишь стадия и частность.

Нервическая активность Пудовкина, у которого Суворов острит, а башни кружатся и валятся, — это манифестация духоодержавности, охватывающей века.

Светлая невозмутимость Довженко, декоративный окрас которого на протяжении эпизода может показаться театральным, а то и оперным, в контексте смены эпох становится знаком человеческой устойчивости. Эта устойчивость сродни природной. И чем спокойнее она поддается очередным безумствам, тем вернее ощущение, что она не поддается ничему.

Захрустит яблоком под новым лозунгом и улыбнется:

— Умираю.

11